

В. ТУНИМАНОВ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ И ЖИЗНИ А. М. РЕМИЗОВА.

Статья вторая (Живая жизнь и подполье).

Вариациями на темы Достоевского в “Огненной России” — а именно о них по преимуществу шла речь в первой статье* — отнюдь не исчерпывается его “присутствие” как в книге “Взвихренная Русь”, так, тем более, в других произведениях Ремизова. Многие — и очень важные — компоненты огромной темы “Достоевский глазами Ремизова” неизбежно остались в стороне. Вот этюды о некоторых из них.

1. Революция или чай?

Чрезвычайно любопытны вариации в творчестве Ремизова на широко известные циничные слова Парадоксалиста “Записок из подполья” (“Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить”, — 5; 147) в те времена, когда свет проваливался на глазах, а чай стал трудно достижимым идеалом. В книге “Взвихренная Русь” осовремененная формула героя Достоевского мелькнет в главе “Сталь и камень” (“Революция или чай пить?”)¹ — закавыченная, двойная цитата: Ремизову вспоминается вопрос, некогда им заданный в период идиллической вологодской ссылки знаменитому террористу Борису Викторовичу Савинкову. Затем (в главке “Отпуск”) — в память о последних встречах с Розановым, по поводу его слов: “не нужен ... мы с тобою не нужны”. Тот же вопрос, но в органичной связи с другими:

“Розанов или тысяча тысяч вертящихся палочек?

— Человек или стихия?

— Революция или чай пить?”².

И, наконец, в главе “Москва” (большой и многотемной) — обрывки вну-

* См. альманах “Достоевский и мировая культура”, № 6.

реннего монолога по дороге в Успенский собор ко всенощной накануне Ильина дня, как итог:

“И как часто со мною бывает, оттого ли, что привык писать вслух, я все время мысленно разговаривал

“Революция или чай пить?”

“Чай пить ...”

“ А вот на же тебе: нет тебе чаю!”

“Революция взяла верх!”³.

Время нешуточным образом уничтожило вопрос, устроив “светопреобразование”, утвердив революцию и ликвидировав чай, ставший символом тихой, уютной жизни, о которой мечтает автобиографический герой-повествователь книги “В розовом блеске”: “А хочется тихо в своей норе посидеть, и чтобы было тепло, главное, натоплено, а по Достоевскому еще и чаю попить, а по мне и с баранками ...”⁴.

И еще раз “подпольный” вопрос приглушенно прозвучит в книге “Иверень”, а ответ на него, понятно, ремизовский – предпочтение с вызовом отдается чаю:

“Чай пить?”

– Да, хотя бы и чай пить – и чтобы оставалось все так, как есть, плохо ли, хорошо ли. Только бы неизменно и нерушимо. А по душевной моей недотрогости: ведь мне больно от мышиноного писка, не только там от человеческих...”⁵.

2. Три Николая

Всех трех юных Николаев Достоевского Ремизов вкуче называет в эссе “Потайная мысль”, полемизируя с одним очень распространенным мнением о писателе: “О Достоевском пошла слава: “достоевщина” – чад и мрак. Но разве это правда? Да в том же “Скверном анекдоте” какой чудесный мальчик – который рассказывал про-литературный “Союник”, сколько в нем сердечного порыва помочь в беде; его еще и еще раз встретим у Достоевского, а зовут его Коля – Иволгин и Красоткин, в “Идиоте” и “Карамазовых”⁶.

Коля Красоткин с “ежиком” лучом света и примирения войдет в “Звезду-Полынь”, эту вдохновенную фантазию Ремизова на темы романа “Идиот”. Вклинится в жалующийся подпольный голос Ипполита Терентьева (монолог о “сроке”): “Если я вижу свой срок, я – со свободной волей – я из одного упрямства предупреждаю хозяев: я – человек – я смею . Слышите, в этом “смею” звучит: “я есмь!” <...> Вам, повторяю, вы еще не думаете о сроке – вы живете и дело вашей жизни в открывании жизни, к чему вам “ежик”? – зачем вам “дружество, забвение обид и примирение”? но мне, хотя бы на один миг ... Но где искать или кто принесет мне этого “ежика”, который ежик и помирит меня со всей бессмысленностью моего “я есмь”⁷.

“Ежик” еще раз появится ближе к финалу “Звезды-Полыни”, контрастируя с апокалипсически-кровавыми, ножевыми, безумными событиями и пророчествами, как добрый знак и благая весть: “А вот мне <Ремизову, Достоевскому и

их героям, всем. — В.Т.> Коля и ежика несет. Ну давайте, откроем скорее клетку — мой ежик, моя надежда, моя мечта, мое очарование, моя любовь!”⁸.

Без “ежика”, говоря фигурально, нестерпима тяжесть жизни в крошечной тьме слишком мрачного и очень уж “взрослого” мира. “Ежик” снимает напряжение, “воскрешая” князя Мышкина: “... точно из мертвых воскрес; расспрашивал Колю <...> смеялся как ребенок и поминутно пожимал руки обоим смеющимся и ясно смотревшим на него мальчишкам. Выходило, стало быть, что Аглая прощает и князю опять можно идти к ней сегодня же вечером, и для него это было не только главное, а даже и все.

— Какие мы еще дети, Коля! и ... и ... как это хорошо, что мы дети! — с упоением воскликнул он наконец” (8; 424). Таких “ежиков”, таких трогательных эпизодов с добродушно-веселым оттенком немало и в произведениях Ремизова, высоко ценившего добрую, сострадательно-толерантную стихию смеха (но не насмешку и злонамеренное зубоскальство): “Смех разлит во всей вселенной. И “добро зело” творение сопровождалось им — вы слышите тихий смех. Смеются звезды, смеются деревья и камни, хрястая зевом. Не смеется одна только тень”⁹.

Ремизов во “Взвихренной Руси” скажет доброе слово о “смехах”, спасавших человека, облегчавших боль даже в самые жуткие времена: “И не только за эти годы — в эти годы только особенно ярко и остро! — а и в мирные годы, за всю мою жизнь много я видел доброго от человека. И коли уж вспоминать, скажу, бывали и “смехи”, но без этого никак не обойдешься — не “протиснешься” в жизни”¹⁰.

С Колей Красоткиным в творчестве Ремизова связаны другие “достоевские” ассоциации и сюжеты — литературные и личные. В жизнеописании Оли (“В розовом свете”) Ремизов, объясняя ее сердечную тайну, сопоставляет помыслы героини с порывом Красоткина: “о, если б я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду!”¹¹.

Этический максимализм, жертвенная чистота неэгоистических устремлений, были присущи многим поколениям дореволюционной интеллигенции, в том числе и поколению Блока и Ремизова. Другое дело, что им пришлось дожить до таких времен, когда “музыка” революции перестала звучать. Однако до того, как исторически и психологически точно писал Ремизов в романе “Канава”, преобладало мироощущение Коли Красоткина: “Хожение в народ” со всем отречением, месть за обиду народную, огненная мечта о счастье мира, вольная виселица — да это такое русское, заветное, завещанное русским народом — сказкой и былью русской”¹².

3. Гоголь и Достоевский

Гоголь и Достоевский — верховные боги на русском литературном Олимпе Ремизова. Фантастические видения, сны и кошмары Гоголя и Достоевского слились в замысловатых символических композициях Ремизова: Чартков

и Свидригайлов (“Все творчество Гоголя от красной свитки до Мертвых душ можно представить, как ряд сновидений с пробуждениями во сне же по образу трехступенного сна Чарткова (Портрет) или повторенного за Гоголем тоже трехступенного сна Свидригайлова (Преступление и наказание)”)¹³, Вий и Барантул¹⁴, “Страшная месть” и “Хозяйка”¹⁵. И почти всегда у Ремизова Гоголь оказывается рядом с Достоевским. Так, объясняя в письме к А.И.Шполянскому (от 16 октября 1931 года), суть злободневной интерпретации сна Гоголя, который собирался прочитать на спиритическом вечере, он сопоставляет с апокалипсическими фантазиями героя Достоевского:

“Я прочитаю им Гоголя сон – очень смешной и полный всяких символов. Об этом должно быть разъяснено в вашем предвечернем слове (вступительном).

Можно сослаться на Лукьяна Тимофеевича из Идиота Достоевского Лебедева, как он апокалиптическую

“Звезду Полюнь”,

упавшую на “источники жизни”

толковал, как “сеть железных дорог”

Лебедев мечтал сделаться прис<ажным> повере<нным>, и теперь он был бы “мгнр” и не железн<ые> дороги, а аэропланы увидал бы в “звезде”

Так и сон Гоголя можно толковать:

неожиданностями, вылезавшими

из всех часов наших дней

и горькими и смешными”¹⁶.

Иногда в произведениях Ремизова возникают фантастические картины, где вопреки хронологии и реализму разыгрываются сцены с участием Пушкина, Гоголя и Достоевского – переключка голосов эпохи, XIX век в гротескной фреске:

“И Гоголь заплакал.

“Боже, как грустна наша Россия!” отозвался Пушкин голосом тоски.

Гоголь поднял глаза и сквозь слезы видит: за его столом

кто-то согнувшись пишет.

“Кто это?”

“Достоевский”, ответил Пушкин.

“Бедные люди” сказал Гоголь и подумал: “растянуто, писатель легкомысленный, но у которого бывают зернистые мысли”, и заглянув в рукопись, с любопытством прочитал заглавие: “Сон смешного человека”. И проснулся”¹⁷.

Ремизов тут слегка посмеивается над “проницательным” отзывом (в духе и стиле Фомы Опискина) Гоголя о “Бедных людях” Достоевского, которого, кстати, современники успели окрестить “новым Гоголем”. Но он же и вступает за Гоголя, задетый резкими словами Достоевского, сохраняя в споре тонней своего рода нейтралитет и, как обычно, весьма своеобразно истолковывая их произведения: “Гоголь в жизни никогда не заплакал, как Достоев-

ский, сочинивший старца Зосиму, никогда попросту не перекрестился. Достоевский, коснувшись тайны Гоголя в “Сне смешного человека”, по себе судя, заподозрил эти незримые слезы <...> Я скажу, слова о этих “незримых слезах” вырвались у Гоголя из самого сердца: Гоголь их не выдумал, это память его из его глубочайшего сна о любви человека к человеку. И когда свет этой любви погаснет в его сердце – ведь он только Чичиков, и не Николай Васильевич, а Павел Иваныч – сердце его станет угольно черным: он принесет себя в жертву, заморит голодом, и я верю, вернет этот свет”¹⁸.

Однако и ирония Достоевского, считает Ремизов, до какой-то степени закономерна. Различие между писателями, с его точки зрения, очевидно всего сказалось в органической неспособности Гоголя изобразить мучающегося, униженного Чичикова: “Вот где бы Достоевский показал всю свою изобразительную силу, рисуя боль человека, но Гоголь чужд упивам сентиментов. И этого не простит Достоевский своему учителю и не забудет, как Селифан ударил кнутом мальчишку и пьяный предлагал посечься, и выместил в Опискине-Гоголе все свое негодование”¹⁹.

Ремизов сам, подобно Достоевскому, не был “чужд упивам сентиментов”. А. Григорьев нашел замечательный термин для определения стиля молодого Достоевского – “сентиментальный натурализм”. Стиль Ремизова по аналогии может быть назван “сентиментальным символизмом”. Сострадание и острое восприятие чужой боли как собственной, больше свойство Достоевского (и его), чем Гоголя, который, скорее, напугать может, чем утешить и напоить уязвленное сердце. Вот, думаю, почему оцепеневшая и “все забывшая” девочка Оде (“Иверень”) воспринимает рассказ о Нелли из “Униженных и оскорбленных”, а не Гоголя: “Гоголь со всеми своими страхами никак, а Достоевский через голос действовал, пробуждая что-то невольно даже сквозь сон”²⁰.

4. Ананасный компот

Садистская фантазия Лизы Хохлаковой поразила воображение Ремизова. Похоже, он увидел в ней нечто идущее из самых темных глубин сознания Достоевского, какое-то откровение о человеке, существе, как всем давно известно, неблагодарном, бунтарском и “подлом”. В мемуарном очерке о Розанове, нанизывая один за другим “декадентские” и “подпольные” мотивы Достоевского (в длиннейшем, захлебывающемся предложении – неудержимый поток лихорадочных мыслей-чувств), Ремизов, естественно, не забыл и “признание Лизы Хохлаковой, одобренное умом Достоевского – Иваном Карамазовым – и принимаемое как свое сердцем Достоевского – Алешей, – распятый мальчик с обрубленными пальцами, висит четыре часа и ананасный компот, сервированный для четырехчасового созерцания человеческих мучений...”²¹.

Еще характернее рассуждения Автора-повествователя (автобиографического героя) книги “В розовом блеске” по поводу подлого доноса “злой, ры

жой старой девы”, из-за которого Олю не пустили на вечер; освещая зауряднейший подлый поступок, он вспоминает признание Лизы, да еще и напрямую связывает его с каким-то “тайным злым помыслом” Достоевского: “Да, это был живой “ананасный компот”, о котором рассказывает Достоевский, исповедуя в Лизе Хохлаковой свой тайный злой помысел, да, это было повторяемое у Достоевского злорадство, испытываемое человеком при виде беды другого человека, да, это было — бывает и такое человеческое сердце, для которого отыскать вину в человеке безвинном — удовольствие, а наказание за эту мнимую вину — наслаждение”²².

“Тайный злой помысел” отнюдь не оговорка и не случайное суждение, а, можно сказать, убеждение Ремизова. “Корреспондент” Достоевского Корнеев в “письме” к нему (“Учитель музыки”) восклицает: “Конечно, кто еще, как вы, не нарушая приличий, с откровенностью до бесстыдства, сумел все-то себя выложить со всей своей тайной!”²³.

А в книге “Иверень” Ремизов так скажет о религиозных исканиях Достоевского: “... гоголевский отпрыск и по природе и по судьбе, с душой вывихнутой и вывороченной, отроду попросту не перекрестившийся, тоже для “порядочности” ухватился за Бога”²⁴. Согласуются такие резкие, шокирующие слова и с эстетической позицией Ремизова, считавшего, что “воссоздание” в художественном произведении есть “не описание кого-то, а непрямая форма исповеди: пишут только о себе с себя — “всякий не может судить, как по себе (Достоевский)”²⁵. Здесь Ремизов, вне всяких сомнений, солидаризуется с парадоксальными суждениями Льва Шестова (не разделяя, впрочем, его апофеоза “подполья”), считавшего, что только в художественном творчестве (“непрямые высказывания”) возможна предельная искренность²⁶. “Мне, — признавался Ремизов в некрологе Шестова, — с моим взбалмошным миром без конца и без начала, Шестов пришелся наруку, легко и свободно я мог отводить свою душу на всех путях “ее безобразия”²⁷.

В произведениях Ремизова “ананасных компотов” — и далеко не таких невинных, как поступок злой девы из книги “В розовом блеске” — бескрайний океан, начиная с “Пруда”, “Часов” и “Крестовых сестер”. А в “Пятой книге” “компот” достигает чрезвычайной густоты, мрак сгущается, превосходя, пожалуй, самые беспросветные страницы Достоевского, Толстого, Андреева и Сологуба. И все же, соглашаясь с тем, что в словах Лизы заключена отвратительная правда о человеке, существе завистливом, радующемся несчастью ближнего, Ремизов не желает признать это всеобщим явлением и — тем более — законом. Он, скорее, готов расценить такие дикие фантазии, как вывих, ущербное отклонение, душевную болезнь, которую способен объяснить (но не оправдать) физический недостаток Лизы Хохлаковой. Это лишь отчасти. Ремизов вспоминает в “Подстриженных глазах” учителя музыки Александра Александровича Скворцова, над которым жестоко надругалось провидение (“Какие только значатся физические недостатки, все

упали на учителя музыки, и только голова и его руки — “рахманиновские” — пощажены: ему способнее было ползать, чем ходить”), что совершенно не озлобило калеку: “Редко в ком видел я столько благожелательства, и такое целомудрие и чистота! — и никакой злобы, никакой злой памяти, стопудовой обузы — цепей на человеческой душе <...> много я с ним разговаривал — он говорил, я слушал — и вот уж ничего от Лизы Хохлаковой “Братьев Карамазовых”, вот кому, в его-то несчастье и обездоленности, никогда и невозможно хотя бы тень ее мысли: “Я иногда думаю, что я сама распяла; он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть ...”²⁸.

Равным образом кошмарная коллекция садистских жестокостей, развернутая Бобровым (“Пятая язва”), его концепция русского народа, как “бродни-ка”, “затворенного псоглавого народа, который в конце концов, в конечный дни земли и света бросится с воем, кривляясь, пьяный от воли из своего тысячелетнего плена на свободные народы и истребит все царства”²⁹, безусловно, односторонний мизантропический взгляд, крайность. Ремизов неустанно повторяет, что именно в самые тяжелые годы ему довелось узнать всю глубину человеческого благородства. Он благодарит судьбу за выпавшую возможность встретиться с В.Г.Короленко. “Да, великое счастье встретиться с человеком!” — эти слова во “Взвихренной Руси” звучат как цитата из романа “Идиот”³⁰. Там же Ремизов писал с благоговением и благодарностью: “Да, я вам скажу, все бы мы пропали, живи эти годы жизнь свою по декретам, но сердце человеческое, для которого нет никаких декретов, спасало нас”; “За эти годы много я видел настоящего добра от людей — без суда и осуждений, без никаких требований, бескорыстно! Имена порастерялись, но чувство сохранил, и это чувство слилось у меня в слове “Россия” — Россия! — пусть самая неожиданная и кавардачная! — и мне всегда больно, когда огулом осуждают все русское. Я вспоминаю добро, какое я видел от людей за эти годы, и это такое острое чувство моей памяти!”³¹.

Любопытно, что Корнетов (“Учитель музыки”), соглашаясь со многими открытиями и пророческими указаниями Достоевского, считает необходимым добавить от себя нечто утешительное и смягчающее слишком уж суровые и давящие определения и формулы: “А как прекрасен мир со всеми его “ошибками”, за которые, вы правы, человека нельзя винить — да, можно винить только самого себя и отвечать перед самим собой! — как богата жизнь с ее болью, с ее радостью и обрадованностью. “Только бедный человек, говорят вы, может узнать, как плох человек...”, но позвольте мне добавить: “и как хорош человек!” и это я готов повторять тысячу раз. Ну, сами посудите, можно ли было вынести жизнь простым смертным в России в годы военного коммунизма, если бы люди не помогали друг другу? И это я говорю о живой жизни”³².

Видимо, эту “добавку”, завуалированную и мягкую полемику с Достоевским, следует оценивать как закономерное явление, а не вдруг вырвавшуюся

реплику “в связи” и “по поводу”. Сложное восприятие Ремизовым творчества Достоевского особенно ярко выразилось в книге “В розовом блеске”, в которой подробно, под микроскопом разбирается, что Оля-подросток впитывала из Достоевского как близкое ей, и мимо чего она равнодушно проскочила. Конечно, “подстриженные” глаза Ремизова не глаза четырнадцатилетней Оли, которая в основном видит то же самое, что и все ее поколение (тонко и точно передана в книге диалектика отношения к Достоевскому молодежи и вообще предреволюционной интеллигенции). Но очевидно, что и самого Ремизова мало занимает Порфирий Петрович и его “сыскные фокусы”; еще меньше — о чем с явной иронией сказано — “гвоздь всяких романтических трагедий”, сладострастие Валковского-Свидригайлова-Ставрогина-Федора Карамазова. Не все “не”Оли — “не”самого Ремизова, но тут он всецело разделяет ее равнодушие: “... надо всеми словами сказать, что не только этот один единственный разожженный уголек светит и цветит жизнь человека, а есть и еще что-то, какое-то другое “начало” жизни, с чем зарождаются люди и проходят свою жизнь и в цвете и в свете!”³³.

Ольга-Серафима Павловна Довгелло — образ идеализированный и мифологизированный. Об этом хорошо сказано в статье О.Раевской-Хьюз: “В отличие от неизменно сниженного образа автора-рассказчика, самого Ремизова, образ Серафимы Павловны построен на последовательном повышении: она тоже другая, не как все, но она необыкновенная и исключительная с самого начала: на нее обращают внимание, она неизменно привлекает к себе. Основные “узлы” этого образа следующие: обет безбрачия, перемена имени, означающая перемену своего существа и связанные с этим ритуальные “умирания”, нарушение обета, и расплата за счастье в браке и материнство разлукой с дочерью”³⁴. В этом мифологизированном “последовательном повышении” образа Оли-Серафимы Павловны огромную роль играют литературные и фольклорные источники. С нажимом подчеркивается отличие Оли от героинь Достоевского (и Гюголя): “И есть такие люди, одаренные воздушными песенными чарами <...> И такие люди вовсе не какие-нибудь “роковые” и “демонические” вроде гоголевской “сверкающей” панночки, и совсем не подстать подмосковной полонке с “инфернальным изгибом” Грушеньке или Катерине-“хозяйке”, и ничего в них мучительного, как в Полине и в Катерине Ивановне, и ничего мучающего от Лизы Хохлаковой, ничего от Достоевского”³⁵.

Реальный облик Оли-Серафимы Павловны преображен особенным, “серебряным” освещением. Это сказочный, волшебный, мистический свет: “И только когда огонь жизни погаснет — но я не могу не верить, я верю, этот серебряный свет отойдет в вечность, светя — пусть даже из самой черной и тесной “закоптелой бани, по всем углам пауки”³⁶.

Символично противопоставление всего связанного с Олей инфернально-подпольному миру Достоевского, подчеркиваемое — **ничего от Достоев-**

ского. Показательна и скептическая реплика автора-рассказчика, выражающего сомнение: “можно ли всерьез принять и самые бешеные любовные страницы Карамазовых и вообще всю литературную перлюстрацию потасовочной жизни”³⁷.

Не удержался Ремизов и от озорной выходки, назвав Аглаю и Грушеньку “кобылицами Достоевского” (“все они с “угольком”)³⁸. Еще насмешливей отзывается о Епанчиных в “Звезде-Полыни”: “Три сестры Епанчины – три кобылицы. Старшая Александра музыкантша, бренчит на фортепьянах, пускает рулады, ест и спит, и во сне снятся ей куры – 9 куриц (три-три-три) и кудластый монах: она его видит однако в темной комнате и хочется ей войти и чего-то страшно (По толкованию генерала Епанчина: “мужа надо”). Средняя Аделаида – рисует травку и деревья, “ландшафты” и никогда ничего не может кончить. И младшая Аглая – с норовом <...> На нее нужна плеть. Рогожин избил до синяков Настасью Филипповну – обознался, мерил своей меркой, а вот бы кого хватить!”³⁹.

И так постоянно у Ремизова о “кобылицах” и “инфернальницах” Достоевского с усмешкой и недоброжелательностью. Совсем иное отношение к матери из “Подростка” (и вообще к матерям Достоевского), к Соне Мармеладовой с ее кротким взглядом и запавшими в душу словами “Бог не допустит”⁴⁰. И к Настасье Филипповне – сестре по духу Оли, такой же “серебряной”. “Одни родятся для земли, другие для неба: у одних белый огонь, у других разожженный уголек в крови. Настасья Филипповна – для неба, не земная, серебряная <...> ведь только бесноватая “небесная”, серебряная, могла сказать земному такие неподъемные слова о любви: “Вы одни можете любить без эгоизма, вы одни можете любить не для себя самой, а для того, кого вы любите”⁴¹.

Антитеза “раскаленный уголек – белый огонь” устойчива в творчестве Ремизова. Это закон и Промысел: “Но если Бог кладет в человеческое сердце раскаленный уголек, Он же озаряет и белым, самым жарким светом – Древо Жизни многолиственно и много поясов...”⁴².

Так ведь именно о многолиственном Древе Жизни и говорит в экстазе Лев Мышкин, монологом которого завершает Ремизов свою “поэму” о романе “Идиот”: “О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными! Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят”⁴³. Это истина, которую понимают ущемленные, страдающие герои Ремизова – особенно – его многочисленные мифологизированные двойники в автобиографических книгах; в частности, Корнетов, так исповедующийся До

Достоевскому: “И не из одних только книг, а и по себе знаю: есть боль жизни, и без этой боли нет жизни, это что-то вроде музыки; и еще есть радость жизни, и без этой радости нет жизни, это — любовь; а есть еще и обрадованность и без этой обрадованности не полна жизнь — это те вдруг слезы, но не горечи, а любви, “когда ангелы Божии радуются на небесах”, это то кроткое прощение большого человеческого сердца, когда на мой вопрос: “простится ли мне?” — я слышу ответ: “и не вспомнется!”, это тот властный поднимающий голос, прозвучавший однажды человеку в его последнем пропаде: “встань и гряди!” Вот круг моего чувства к жизни, которая непременно боль и непременно радость и, как особый дар, обрадованность”⁴⁴.

Радость и обрадованность редкие гости — реже чем у Достоевского — в мире Ремизова; а вот “пропада”, страдания, боли, отчаяния сверх всякой меры. Они явно преобладают на той стороне Древа жизни, которая главным образом и была видна Ремизову. Потому-то ему и были так близки “большие” страницы Тургенева, Лескова, Толстого и — особенно — Достоевского, и именно, что **черному отчаянию** (“дьяволов водевиль” или “скверный анекдот”) может противостоять только страдание: “пострадать” — это единственный выход “страдания”; только так человеку еще и возможно отбыть свой горючий век: покажу язык из подполья. “Страдание-отмщение” — проповедь Достоевского” (“Царское имя”)⁴⁵.

5. Мысли-чувства

“Только то и живо, что из чувства. Из чувства выблискивает мысль, загорается образ и слово. Самый яркий пример: Достоевский”, — приводит слова Ремизова Н.Кодрянская⁴⁶. Более всего он ценил страстную поэтическую мысль Достоевского, в том числе “двойные” и “подпольные” мысли. “Из писателей Достоевский особенно скрыт и совсем не бросается в глаза. У Достоевского все: “мысль”, “подмысль” и “за-мысли”, обходы, крюки, кривизны”, — писал он в эссе о Достоевском с характерным названием “Потайная мысль”⁴⁷.

“Достоевский рассказывает о игре — столкновении мыслей, его герои — мысли, его мир — мысленный мир. И это вовсе не значит — “беспредметный” — сила и движение мысли живее всякой “физиологии”; “Самые яркие живые мысли в “Идиоте”: Ипполит — Мышкин. Они всю паутину и распутывают”, — выделяет Ремизов исключительные свойства мысли Достоевского в “Звезде-Полыни”, восхищаясь искусством писателя (“его книги из огня выжженных букв”)⁴⁸.

Эту потайную, горящую мысль Достоевского Ремизов неустанно постигал всю свою жизнь, — так долго и так интенсивно постигал, что она стала и его мыслью, общей с Достоевским (как и “память”). Охотно и часто вводил Ремизов в свои произведения знаменитые метафоры, определения (или пошук-философские формулы) Достоевского. Своеобразно разъяснял слова о

загадочной силе красоты: “У Достоевского всегда все “предметы” необыкновенно “красивые”, даже “демонически красивые” или, вернее, “чарующие” — да иначе и невозможно, ведь только “очарование”, сделавшее по Гоголю наш мир адом, только очарование может не только перевернуть этот мир, т.е. нарушить всю математику, а и спасти от “страха и боли” и даже от неизбежной “злой памяти”⁴⁹.

Органично вошло в поэтическое сознание Ремизова и одно из центральных понятий Достоевского “живая жизнь” (в соседстве и сочетаниями с образами Лескова и Гоголя): “тут были отдельные случаи, под которые нельзя было подводить всех и заключать о всех — тут была та самая “живая жизнь”, любимое выражение Достоевского, который этим словом обозначал своеобразное и всегда наперекорное всеобщему отдельное человеческое действие, или, по Лескову, тут выступала “бьющаяся живая жила”, заявляющая о себе, вопреки всяким рассуждениям, и как части ни с чем несообразным, неожиданным действием, тут выходило на свет основное гоголевское: “поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!”, или знаменитое, легко принимаемое, глубочайшее хлестаковское: “у меня все вдруг””⁵⁰.

6. Нос Пселдонимова и “фаллические гастролы” Розанова

Ремизов-художник сформировался в эпоху “серебряного века” русского искусства. Был неотъемлемой частью русской культуры начала XX века. Дышал тем воздухом, о котором столько сурового наговорил В.Ходасевич, сильно преувеличив его ядовитость и тлетворность. Естественно, что этот воздух не мог не повлиять на постижение Ремизовым Достоевского. Ремизов чутко (часто ревниво и настороженно) прислушивался к голосам современников, не реже его обращавшихся к творчеству Достоевского, и разумеется, внимательно прочитал книги и статьи В.Розанова, Д.Мережковского, Вяч.Иванова, Н.Бердяева, С.Булгакова, Л.Шестова. Д.Мережковского он откровенно недолголюбил⁵¹, хотя, судя по всему, его книгу о Толстом и хорошо усвоил. К идеям Бердяева и Булгакова, похоже, Ремизов был равнодушен. С теорией Вяч. Иванова, с его “мифологемами” суждения Ремизова пересекаются, но, может быть, спонтанно (не влияние, а совпадение). С Львом Шестовым Ремизов дружил и с его мыслями о Достоевском отчасти соглашался. Антигегельянство Шестова, борьба с всесилием разума, восстание Достоевского и Шестова против “математики” и “машинности” — все это было близко и дорого Ремизову: ““Человек” — я говорю о человеческом мире — пропадает именно от своей тупой “разумности” и холодной расчетливости”, этот самообманывающийся непогрешимой “математикой” игрок!<...> Шестовское “безумие” — “апофеоз беспочвенности” — был вызов именно этой мировой бездушной машинности, этому подлинно бесчувственному идолу “логизирующему” сухарю”, для которого горячее человеческое сердце с его безграничной волей и чудесами — *сапогом!* — “дважды два четыре!”⁵².

Но, пожалуй, больше других повлиял (конечно, говоря условно — взгляд Ремизова всегда оригинален и резко характерен) на восприятие Ремизовым Достоевского В.Розанов. В эссе “Царское имя” он цитирует, всей душой соглашаясь, “вещное слово” Розанова (из книги “Легенда о великом инквизиторе”) о Достоевском: “Тревога и сомнения, разлитые в произведениях Достоевского, есть наша тревога и сомнения, и таковыми останутся они для всякого времени. В эпохи, когда жизнь катится особенно легко или когда ее трудность не сознается, Достоевский может быть даже совсем *забыт* и нечитаем. Но всякий раз, когда в путях исторической жизни почувствуется что-нибудь нечеловеческое, когда идущие по ним народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ Достоевского пробудится с несколько не утраченной силой”⁵³.

В “Потайной мысли” Ремизов прилагает это суждение о вечной злободневности творчества Достоевского к рассказу “Скверный анекдот”, который “как будто бы появился <...> в наше время среди нас, пресмыкающихся на земле, одичалых млекопитающихся — кровоядных и травоядных”⁵⁴. На прелебопытном истолковании писателем сути рассказа, думаю, отразился Розанов и его — по любовно-насмешливой характеристике Ремизова — “фаллические гастроли”. В семантический (символический) центр рассказа Ремизов, фантазируя в манере Розанова, помещает нос Пселдонимова: “Не выдержишь!” долбил голос и розовое мешалось с желтым и, блестя, клубилось, а из задымившегося рта Шипуленка вдруг медленно стал вылупляться нос Пселдонимова, распаренный... скажу словами нашего первого летописца: “нельзя казати срама ради”. — Пралинский при виде чудовищной свеклы не выдержал и вздрогнул. И с этого начинается сновидение”⁵⁵.

Многоточие после слова “распаренный” слишком легко заполняется: в “Повести временных лет” среди других знамений упоминается ребенок, на лице которого находились “срамные части” (“об ином нельзя казати срама ради”). Однако даже такой прозрачной подсказки Ремизову мало; он еще с удовольствием и энтузиазмом пояснит: “...этот выпирающий чрезмерно горбатый нос, — если бы носы, как платки, прятали в карманы, можно было бы сказать: трудно вынимается. В.В.Розанов по каким-то египетским разысканиям о человеческой трехмерности, — в длину, в ширину и ... “в бок”, — взглянув только на нос Пселдонимова, сказал бы, не задумываясь, своим розановским, по-гречески: “да ведь это фалл...”⁵⁶.

Все это вполне в духе как Розанова, так и Ремизова, у которого есть несколько “греческих” произведений (в том числе “Табак” с эротическими рисунками К.Сомова). Немало “греческих” сюжетов и в книге Ремизова о Розанове “Кукха”. Чего стоит одна лишь главка “Хобот”. “Хобот”, а в другом месте с иноземным оттенком — “хуль”: “звучит по-английски, а по-нашему и дурак поймет” (“Моя литературная карьера”)⁵⁷.

7. И т.д.

Достоевского (и от Достоевского) необыкновенно много в творчестве Ремизова. Трудно, а часто и невозможно, выделить (и отделить) “достоевские” образы и мотивы в его произведениях, что, впрочем, понятно и отчасти объясняется таким автопризнанием писателя: “Смотрю на себя со стороны: я и Прохарчин — “страх жизни”, я и Макар Алексеевич (“Бедные люди”); очень много меня и в Баланцеве (“Плачущая канава”)”⁵⁸.

Иначе говоря, Ремизов обнаруживает себя как в героях Достоевского, так и в своих собственных (а те, естественно, находятся в ближайшем родстве с Ипполитом Терентьевым, Кирилловым, Мышкиным). “Достоевские” черты и черточки в его произведениях то и дело бросаются в глаза. Иногда явно, полужитатой (из “Бесов”, а не Нового Завета), и без апокалипсического акцента, в житейско-сниженном варианте — горе шестиклассницы, танцевавшей с Шаляпиным и удаленной согласно гимназическому правилу с бала после двенадцати: “И времени больше не стало”. — А между тем пробило двенадцать”⁵⁹.

Чаще прикровенно, но так, что ситуации Достоевского уверенно прочитываются: моление Баланцева из “Канавы” (“Господи, хоть бы форточку открыть, высунуться и разок глотнуть воздух!”)⁶⁰ — явные ассоциации с мотивами “Преступления и наказания” и “Бесов”. Таких ассоциаций, вкраплений, черт и черточек великое множество. Рассказ о них легко начать, но трудно закончить. Нельзя однако не упомянуть, что сам писатель среди особенно дорогих произведений Достоевского, всю жизнь его сопровождавших, называл “хозяйку” и “Кроткую”.

Неоднократно говорил Ремизов и о том, что его в литературе “особенно <...> тронул апокриф Мармеладова “Приходите и вы, свиньи”... — всегда готов читать эту исповедь Достоевского”⁶¹. Не литературное, сочиненное, а глубоко интимное до содрогания слышалось Ремизову в словах Мармеладова (“Не знаю как для других, но меня чувство виновности никогда не отпускало. И это с первого причастия. <...> Никогда не представлял свою жизнь благочестивой, да я и не хотел такой жизни. И никогда первым, а где-то в толпе среди отверженных, среди этих грешников, которым и руку подать не всякий решится”), и он морщился, слушая фальшивое и стереотипное актерское чтение: “А вот актеры <...> читают, изображая Мармеладова пьяницей, сюсюкая, с заплетами и всхлипами, с царапающими *c* в словах на *ш*. Для уха нестерпимо, для глаз отвратительно — с души воротит от такого изобразительного чтения. А ведь это исповедь “человека”. Читайте Мармеладова просто и вы услышите другие слова: исповедь не пьяницы — Достоевского”⁶².

Марина Цветаева проникновенно, тепло сказала о Ремизове: “Здесь, за границами державы Российской, не только самым живым из русских писателей, но живой сокровищницей русской души и речи считаю — за явностью и договаривать стыдно — Алексея Михайловича Ремизова <...> Ремизову я, будь

и какой угодно властью российской, немедленно присудила бы звание русского народного писателя, как уже давно (в 1921 г.) звание русской народной актрисы — Ермоловой. Для сохранения России, в вечном смысле, им сделано более, чем всеми политиками вместе”⁶³.

Такого звания в СССР не было, а, следовательно, никто там даже сгоряча не мог “выдвинуть” А.М.Ремизова (и хорошо, что не выдвинули и не дали, а то пришлось бы лишать — как Ф.И.Шаляпина). Но заслужил такое звание Ремизов безусловно. Из знаменитых русских писателей XX века — давно уже классиков — Ремизов, действительно, больше всех был хранителем традиций великой русской литературы от “Повести временных лет” и “Жития” Ашвакума до Чехова. Хранителем и неутомимым пропагандистом. Гениальным импровизатором. Никогда не прерывалось в его творчестве и связь с ослепленным словом Достоевского, писателя — в это Ремизов верил неколебимо — который есть Россия и без которого нет России.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Ремизов А. В розовом блеске. М., 1990. С. 90.

² Там же. С. 95.

³ Там же. С. 152.

⁴ Ремизов А. В розовом блеске. С. 629.

⁵ Ремизов А. Иверень. Berkeley, 1986. С. 277

⁶ Ремизов А. Огонь вещей. М., 1989. С. 208.

⁷ Там же. С. 224.

⁸ Там же. С. 230.

⁹ Ремизов А. Иверень. С. 116.

¹⁰ Ремизов А. В розовом блеске. С. 280.

¹¹ Там же. С. 525. Эти же слова Коли Красоткина повторяются в финале книги, но с важным дополнением: “В “Подростке” такое душевное расположение названо “всемирным болоньем за всех” (Там же. с. 724).

¹² Ремизов А. Избранное. Л., 1991. С. 415.

¹³ Ремизов А. Огонь вещей. С. 54.

¹⁴ Подпольные и inferнальные символы, темная и наглая сила - антижизнь: “А ведь жизнь - ее природа, ее глубочайшая скрытая завязь - “это всесильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы”, - этот огромный и отвратительный тарантул Достоевского, этот приземистый, дюжий косолапый человек в черной земле с железным лицом и с железным пальцем - гоголевский Вий - для живого нормального трезвого глаза, не напухшего и не замученного, никогда не “тарантул”, никогда - “пузырь с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал, на которых черная земля висела клоками”, никогда никакой не Вий с железным пальцем, нет, никогда не это, а все, что можно себе представить чарующего из чар, вот оно-то и есть душа жизни”. (Ремизов А. В розовом блеске. С. 560).

¹⁵ Достоевский в “Хозяйке” пытался подделать свою Катерину под голос Катерины “Устрашной мести”, но родился без песни и пропелось фальшиво. - Знак судьбы паутина, а Достоевский прибавит “паучиная”. Но выражение ужаса единственное у Гоголя: “Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волосы стали отделяться на голове ее”. Как нет ни у кого, только у Гоголя, такой далекой дали зрения и слов, выражающих преследование”. (Ремизов А. Огонь вещей. С. 112).

¹⁶ Отдел редких книг и рукописей библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке (Пахметевский архив, коллекция А.П.Шполянского).

¹⁷ Ремизов А. Огонь вещей. С. 46.

¹⁸ Там же. С. 44.

¹⁹ Ремизов А. Огонь вещей. С. 91.

²⁰ Ремизов А. Иверень. С. 163.

²¹ Ремизов А. Встречи. Paris, 1981. С. 106.

²² Ремизов А. В розовом блеске. С. 547 — 548.

²³ Ремизов А.М. Царевна Мымра. Тула, 1992. С. 303.

²⁴ Ремизов А. Иверень. С. 115 — 116.

²⁵ Ремизов А. Огонь вещей. С. 55.

²⁶ Более того: “Достоевский и в “Преступлении и наказании”, и в других своих сочинениях делает величайшие усилия, чтобы “онормалить”, если разрешено такое слово, своих подпольных людей, т.е. себя самого, конечно. Но чем больше он старается, тем меньше выходит”. (Шестов Л. На весах Иова. Париж, 1929. С. 65).

²⁷ Ремизов А. Встречи. С. 269.

²⁸ Ремизов А.М. Избранное. М., 1978. С. 468.

²⁹ Ремизов А.М. Избранное. Л., 1991. С. 350, 351.

³⁰ Ремизов А. В розовом блеске. С. 164-165.

³¹ Там же. С. 255, 280.

³² Ремизов А.М. Царевна Мымра. С. 303.

³³ Ремизов А. В розовом блеске. С. 557.

³⁴ Ольга Раевская-Хьюз. Образ С.П.Ремизовой-Довгелло в творчестве А.М.Ремизова (К постановке проблемы)//Алексей Ремизов. Исследования и материалы. С.-Петербург, 1994. С. 11.

³⁵ Ремизов А. В розовом блеске. С. 560-561.

³⁶ Там же. С. 601.

³⁷ Там же. С. 622.

³⁸ Там же. С. 628.

³⁹ Ремизов А. Огонь вещей. С. 225.

⁴⁰ Взгляд Оли, исполненный глубокой веры и сострадания, обрамлен литературными ассоциациями (из самых памятных и любимых): так “однажды взглянул Гоголь из своего безмятежного “рая” (Пульхерия Ивановна) и однажды Достоевский из своего “ада” (Соня Мармеладова): одна была пламенная мысль и одно единственное слово уверенное, молящее и грозное “Бог не допустит” — и этот взгляд на один миг — но если бы дана была человеку бесконечная жизнь, этот единственный взгляд остался бы на веки веков”, - Ремизов А. В розовом блеске. С. 609. Героини Гоголя и Достоевского неразлучны в произведениях Ремизова: “Пульхерия Ивановна и Соня Мармеладова, “прекрасная” и “премудрая”, я слышу то же слово и тот же голос — глас из рая и глас из ада: “Бог не попустит!” у Пульхерии Ивановны из ее безмятежного сердца на жестокое замечание Афанасия Иваныча о пожаре: “их дом сгорит”, и у Сони из ее жертвенного сердца на каторжное (по-другому Достоевский не может) Раскольниково что “она захворает, свезут ее в больницу, а Катерина Ивановна помрет в дети, для которых она в жертву себя принесла, останутся на улице и участь сестры ее Полинки - ее участь “гулящая”! - “Бог не допустит!” — “А может, никакого и Бога нет”, конечно, в добром человеческом смысле: попроси — не откажет. Но ни Пульхерия Ивановна, ни Соня по их вере не хотят да и не могут слышать: вера всегда наперекор” (Ремизов А. Огонь вещей. С. 45).

⁴¹ Ремизов А. Огонь вещей. С. 226.

⁴² Ремизов А. В розовом блеске. С. 629.

⁴³ Ремизов А. Огонь вещей. С. 230.

⁴⁴ Ремизов А.М. Царевна Мымра. С. 300.

⁴⁵ Там же. С. 351 — 352.

⁴⁶ Там же. С. 393.

⁴⁷ Ремизов А. Огонь вещей. С. 198.

⁴⁸ Там же. С. 214, 224.

⁴⁹ Ремизов А. В розовом блеске. С. 564.

⁵⁰ Там же. С. 582.

⁵¹ С какой-то холодной язвительностью он писал: “В появлении Мережковского было всегда что-то комическое, потому и было так смешно смотреть. На похоронах Мережковского, стоя за гробом, я понял, что в жизни он был ходячим гробом: гроб, закрытый крышкой и среди церкви, ничего смешного, но каково в жизни — такая встреча. Э.Н.Гиппиус вся на костях и пружинах — устройство сложное, но к живому человеку никак. Да они и всю жизнь, а про

жили в удовольствие, только и говорили о “конце света”, с какой-то щиплющей злостью отворачивая всякую жизнь”, — Ремизов А. Встречи. С. 172. По контрасту, когда появлялся В. Ропкин, “все, и самое мертвое, вдруг оживало, подымался беззаботный смех” (Там же).

⁵² Ремизов А. Встречи. С. 268.

⁵³ Ремизов А. М. Царевна Мыра. С. 350.

⁵⁴ Ремизов А. Огонь вещей. С. 201.

⁵⁵ Там же. С. 296.

⁵⁶ Там же. С. 200.

⁵⁷ Ремизов А. Встречи. С. 76.

⁵⁸ Ремизов А. М. Царевна Мыра. С. 358.

⁵⁹ Ремизов А. В розовом блеске. С. 566.

⁶⁰ Ремизов А. М. Избранное. Л., 1991. С. 536.

⁶¹ Ремизов А. М. Царевна Мыра. С. 373.

⁶² Там же. С. 355 — 356.

⁶³ Морковин В. Марина Цветаева в Чехословакии // *Ceskoslovenska rusistika*. Praha, 1962.

№ 1. С. 51 — 52.